



**Н. К.
МИХАЙЛОВСКИЙ**



Николай Михайловский

О г. Максиме Горьком и его героях

«Public Domain»

1898

Михайловский Н. К.

О г. Максиме Горьком и его героях / Н. К. Михайловский —
«Public Domain», 1898

О Максиме Горьком.

© Михайловский Н. К., 1898

© Public Domain, 1898

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Николай Константинович Михайловский

О г. Максиме Горьком и его героях

I

Года три тому назад в разных журналах стали появляться рассказы, подписанные новым в литературе именем: Максим Горький. Они читались с интересом, от них веяло чем-то свежим; но частью потому, что многие из них печатались в мало распространенных изданиях, частью вследствие разбросанности их вообще трудно было составить себе определенное представление о литературной физиономии новоявленного писателя. Могло даже возникать сомнение, — обладает ли он еще какою-нибудь определенной физиономией и не есть ли он одно из тех мимолетных явлений, каких много в современной литературе: появится новый автор с повестью или рассказом, представляющими известный интерес в смысле оригинальности замысла или художественности исполнения, как будто обещающими что-то и в будущем, но затем очень скоро оказывается, что у автора только и хватило пороку на один, на два рассказа. Всегда, разумеется, были в литературе подобные мимолетные явления, но ныне что-то особенно много стало случайных гостей; побеседовали они с вами раз, другой, и, пожалуй, вы заинтересовались их беседой и недурно с ними время провели, но затем они выбывают из круга ваших знакомых, да так, что точно их и на свете никогда не было, и помянуть их нечем. Иные, правда, еще пытаются удержаться и не без гордости говорят, подобно Ипполиту Островского: «Коль скоро я пришел»... Но читатель с грустью припоминает реплику Ахова: «Коль скоро ты пришел, толь скоро ты и уйдешь»...^[1] Это одно из проявлений современного литературного, скажу больше, — современного житейского оскудения вообще. Оскудению этому есть вполне уловимые причины, говорить о которых теперь трудно. О них расскажет в свое время история.

Но каковы бы ни были причины, а печальный факт остается фактом, и не удивительно, если люда, любовно следящие за русской литературой, встречают заинтересовавшего их нового автора с некоторым скептицизмом: можно ли рассчитывать на сколько-нибудь продолжительное общение с ним? есть ли у него за душой что-нибудь прочное, не изнашивающееся в два-три приема?

Скептицизм этот был естествен и относительно г. Максима Горького. Не скажу, чтобы он был устранен и теперь, когда рассказы г. Горького, частью погребенные в таких литературных могилах, как «Северный вестник»^[2], да и вообще раскиданные, собраны и изданы отдельно. Но во всяком случае два тома его рассказов представляют собою нечто вполне определенное, притом такое, что может доставить и художественное наслаждение и пищу для размышления, что можно не только с удовольствием читать, но и перечитывать, и что помянется историей литературы, хотя бы г. Максим Горький уже ничего более не написал.

Г. Горький разрабатывает если не совсем новый, то очень мало известный рудник — мир босняков, босой команды, золоторотцев. В отличие от своих предшественников, которых, впрочем, было всего один, два, да и обчелся, и которые занимались этим своеобразным миром мимоходом и между прочим, он отдает ему все свое внимание и весь свой недюжинный талант. Мир — действительно в высокой степени заслуживающий внимания, как до своей, благодарной для художника, живописной яркости, так и по своему общественному значению. Это — чандалы европейской цивилизации. Индийские чандалы живут вне кастового строя и состоят частью из плодов строго воспрещенных *mesalliance*'ов¹ между представителями трех высших

¹ неравных браков (*фр.*). — *Ред.*

каст, частью из потомков судр, за преступления или по каким-нибудь другим причинам выбывших из своей касты, частью, наконец, из покоренных неарийских туземных элементов. Наши чандалы – то, что в западной Европе называется Lumpenproletariat, а у нас босяки, золото-ротцы, – будучи такими же отверженными из отверженных, такими же отбросами различных общественных слоев, имеют, однако, совершенно иное происхождение. Не говоря уже о Западной Европе, и у нас в России не только нет кастового строя, но и сословные перегородки постепенно сглаживаются и теряют свое значение. Сын дворянина и мещанки или крестьянина и дворянки может, конечно, попасть в ряды босяков, но не по рождению, а по такому же стечению обстоятельств, какое и чистокровного дворянина, как и чистокровного мужика, может ввести в эти ряды. Лишение прав состояния за преступление тоже не обязательно ввергает людей в «золотые роты». Наконец, и о какой-нибудь национальной особенности босяков не может быть и речи. И тем не менее они, подобно индийским чандалам, стоят вне общественного строя, и даже наиболее демократические европейские партии презрительно сторонятся от Lumpenproletariat'a. Они имеют на то свои резоны. Босяки от всех берегов отстали, но ни к которому не пристали, ни в какие регулярные кадры не устанавливаются, никакой партийной или классовой дисциплине не поддаются. Правда, г. Горький готов видеть в них особый класс. Это – говорит он – люди, «которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые» (II, 24)^[3]. Что босяки вполне достойны внимания, это несомненно, и г. Горький, показавший нам их в целом ряде картин и образов, может по праву гордиться тем делом, которое он делает. Но не потому, однако, достойны внимания босяки, что они «сильно алчут и жаждут, очень злы и далеко не глупы». Это признаки слишком общие, а вместе с тем и слишком индивидуальные. Как и а priori² можно было бы сказать, как и из рассказов г. Горького видно, есть между босяками и совсем не «очень злые», а даже очень добрые, есть, конечно, и глупые; всякие есть. Достойны они внимания как общественное явление, притом все растущее. Но чтобы босяки составляли или могли составить «класс», – в этом позволительно сомневаться, хотя бы на основании показаний самого г. Горького, с которыми мы сейчас познакомимся.

Остановимся на одном из лучших рассказов г. Максима Горького, озаглавленном по прозвищу героя «Челкаш». Рассказ этот был напечатан в «Русском богатстве», но я считаю нужным напомнить читателям некоторые его подробности, быть может, позабытые, тем более что в общей связи с другими рассказами г. Горького «Челкаш» получает особенное значение.

Дело происходит в большом приморском южном городе, вроде Одессы или Севастополя. Рассказ открывается описанием места действия. Г. Горький любит подобные описания и большой мастер на них. Особенно ему удаются марины и степные пейзажи, между которыми есть истинно превосходные. Но описание, которым начинается «Челкаш», не принадлежат к числу лучших, имеет зато некоторое принципиальное значение, давая отправную точку для суждения о многом из того, что занимает г. Горького; и, может быть, не случайно описание это попало на первые же страницы первого тома. Я приведу его целиком;

«Потемневшее от поднятой в гавани пыли, голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотрит на зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Он не может отразиться в воде, то-и-дело рассекаемой ударами весел, паровых винтов, глубокими, острыми киями турецких фелюг или других парусных судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань, в которой закованные в гранит свободные волны моря, подавленные громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные ударами, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений у вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень, глухой стук дерева, дребезжание

² сразу же, не пускаясь в рассуждения (лат.). – Ред.

извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных надсмотрщиков – все эти звуки сливаются в оглушительную симфонию трудового дня и, нерешительно колыхаясь, стоят в небе над гаванью, как бы боясь всплыть выше и исчезнуть в нем, а к ним вздымаются с земли все новые и новые волны: то глухие, рокошующие и сурово сотрясающие все кругом, то резкие, гремящие, разрывающие уши и пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, мостовая гавани, суда и люди – все дышит мощными звуками бешено страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, рваные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, под тяжестью заботы, толкающей их то туда, то сюда, в тучах пыли, в море зноя и звуков, так ничтожны и малы по сравнению с окружающими их железными колоссами, горами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистели, то шипели, то как-то глубоко вздыхали, и в каждом рожденном ими звуке чудилась насмешливая нота иронического презрения к серым, пыльным фигуркам людей, ползавших по их палубам и наполнявших их глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны были длинные вереницы грузчиков, таскавших на себе тысячи пудов хлеба и ссыпавших его в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка, к несчастью людей, не железного и чувствующего веши голода. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством и безмятежностью машины, созданные этими людьми; машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов... в этом сопоставлении была целая поэма жестокой и холодной иронии.

Шум подавлял, пыль, раздражая ноздри, слепила глаза, зной пек тело и изнурял его, и все кругом – здания, люди, мостовая – казалось напряженным, назревшим, готовым прорваться, теряющим терпенье, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освещенном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий нервы, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем» (I, 63–65).

Из этой цитаты видно, что г. Горький не принадлежит к числу тех оптимистов, которых радует промышленный прогресс как таковой. В нарисованной им грандиозной и мрачной картине есть только один светлый луч, да и то скорее намек на луч: «человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем». Это-то желание и это чувство г. Горький и улавливает в своих босяках. Но не только по промышленному прогрессу, а – в связи ли с ним, или независимо от него – и к другим сторонам цивилизации наш автор относится весьма скептически. В рассказе «В степи», между прочим, читаем: «Я хочу быть только правдивым, и не в моих интересах быть грубым. Я знаю, что люди становятся все мягче душой в наши высококультурные дни и даже когда берут за глотку своего ближнего с явною целью удушить его, так стараются сделать это с возможной любезностью и с соблюдением всех приличий, уместных в этом случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот прогресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости». (III, 5). И г. Горький держит своих героев неизменно поблизости от тюрем, кабаков и домов терпимости.

Таковы два устоя босяцкой жизни, как нам ее рисует г. Максим Горький: свободолюбие, с одной стороны, кабаки, тюрьмы, дома терпимости, вообще «порочность» – с другой.

Гришка Челкаш – «старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду как заядлый пьяница и ловкий, смелый вор» (I, 65). Но просто пьяница и вор не удостоился бы внимания г. Горького – мало ли их! Пьяница и вор может вызвать к себе презрение, в лучшем случае сожаление и другие подобные сочетания презрительно снисходительных и брезгливых чувств. Челкаш не таков. «Пьяница и вор» – это только одна сторона его души и жизни. Есть в нем еще многое другое, что не только не унижает его, а даже создает ему некоторый поэтический ореол и высоко поднимает его над уровнем не только обыкновенных пьяниц и воров, но и многих честных и трезвых людей. Так, «он, вор и циник, любил море; его кипучая, нервная натура, жадная на впечатления, никогда не прельщалась созерцанием этой темной широты, бескрайней и мощной» (I, 79). Уже это показывает, что Челкаш не о едином хлебе думает, не о хлебе и водке только. И недаром он так любит именно море с его широким простором: его душе особенно родствен этот простор. Он смел, великодушен, преисполнен чувства собственного достоинства, никому не позволит наступить ему на босую ногу, и те грандиозные сочетания металла, дерева и пара, которые г. Горький изобразил в начале рассказа, никоим образом не могли бы похвалиться, что они поработили, обезличили Челкаша.

Все эти качества Челкаша разворачиваются перед читателем в одном эпизоде. Челкаш затеял рискованное предприятие, – комбинацию воровства с продажей контрабандного товара, – с которым ему одному не справиться. Но под рукой нет привычного к такому делу помощника, и Челкаш берет к себе в товарищи случайно встреченного прохожего, молодого мужика Гаврилу. Парень шел домой к себе в деревню с косовицы, заработки были плохи, и Гаврила, не совсем понимая в чем дело, согласился на предложение Челкаша. При исполнении предприятия он, добродушный и глуповатый деревенский парень, вдоволь натрусился, вызывая то насмешки, то гневные окрики Челкаша, а затем произошла следующая сцена при дележе добычи. Операция принесла пятьсот сорок рублей, из которых сорок Челкаш отделил Гавриле, предполагая, по-видимому, и еще прибавить. Но Гаврилу при виде радужных бумажек обуяла жадность, – на эти огромные для него деньги, «заработанные» в одну ночь, он у себя в деревне как бы устроился! а Челкаш ведь их просто пропьет! – И Гаврила униженно страстно молит Челкаша отдать ему всю добычу. Молит, но вместе с тем как будто и отнять покушается, потому что неожиданным движением валит Челкаша на землю.

«На, собака, жри! – гаркнул Челкаш, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем, удайство светилось в его глазах». Гаврила стал столь же униженно благодарить. «Челкаш слушал его визги, вопли, смотрел на его сиявшее, искаженное жадной радостью лицо и чувствовал, что он, вор и гуляка, оторванный от всего в жизни, никогда не станет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким! И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы и удаи, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу» (I, 100). Но когда Гаврила, в порыве восторга, признается, что он хотел убить Челкаша, тот решается отобрать деньги. Происходит драка: Челкаш, пораженный камнем в затылок, падает, Гаврила просит прощения и проклинает соблазнившие его деньги. Челкаш, однако, презрительно заставляет его взять добычу, оставляя себе лишь одну радужную, и случайные товарищи расходятся...

Таков босяк Гришка Челкаш. В сравнении с добродушным, работающим и глуповатым мужиком Гаврилой он, вор и пьяница, есть настоящий герой и рыцарь чести. Он, в освещении г. Горького, имеет полное право смотреть сверху вниз на этого «жадного раба». И критики, недавно восторгавшиеся посредственным рассказом г. Чехова собственно потому, что в нем «мужики» своим «деревенским идиотизмом» выгодно оттеняют фигуры трактирного лакея и горничной меблированных комнат, уже заодно это унижение мужика – такая теперь мода – высоко оценят г. Максима Горького^[4]. Я тоже ценю как талант г. Горького, так и употребление, которое он из него делает, но по несколько иным соображениям.

По-видимому, глубокое презрение к мужику и к деревенскому житью, презрение, сопровождаемое даже ненавистью, свойственно не одному Гришке Челкашу, а вообще излюбленным героям г. Горького. Так, в рассказе «Мальва» удалой золоторотец Сережка называет мужиков «землеедами тупорылыми» и «кротами таракановичами», а об одном из действующих лиц отзывается так: «Мне он не по душе... деревней от него воняет, а я запаха этого не терплю» (III, 56–59). Сама Мальва презрительно говорит, что в деревне, «как в яме, – и темно, и тесно» (III, 34). Сережка же так поясняет свою мысль в другом месте: «Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами, им и хлеба дают и... все!.. У них, вон, земство есть, и оно все для них делает... Я у земского доктора кучером служил, посмотрелся на них... потом бродяжил по земле много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба – цап тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бывали сколько раз... То за конокрада примут... то просто так... В холодную сажали... они ноют да притворяются, но жить могут, у них есть зацепка – земля. А я что против них?» (III, 63). В «Бывших людях» ненавидит мужиков некий Тяпа, «Каждый раз, когда в ночлежке являлся какой-нибудь свежий экземпляр чело- века, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпа при виде его впадал в тоскливое озлобление и беспокойство. Он преследовал этого несчастного едкими насмешками, с злым хрипом выходящими из его горла; он натравливал на него какого-нибудь злющего босяка, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный и растерявшийся мужик исчезал из ночлежки и уже больше не являлся в ней». В газете Тяпа читал «о том, что в такой-то деревне градом побил хлеб, а в другой сторело тридцать дворов, а в третьей баба отравила свою семью, – все, что принято писать о деревне и что рисует ее только несчастной, глупой и злой. Тяпа читал все это глухо и мычал, выражая этими звуками, быть может, удовольствие» (II, 168, 169). Емельян Пиляй, «мещанин голоштанник», как он сам себя называет, грозит «дворянам от сохи» разными неприятностями. Он мечтает открыть кабак и с некоторым даже сладострастием представляет себе, как он будет грабить мужика: «Мужика бы этого, черноземного барина – ух ты!.. грабь! дери шкуру! выворачивай наизнанку. Придет опохмелиться – „Емельян Павлыч, дай в долг стаканчик!“ – А? что?.. В долг?!.. Не даем в долг! – „Емельян Павлыч, будь милосерд!“ – Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!» (I, 20).

Таким образом, босяк, представитель городской культуры, является антагонистом деревенского мужика и, как ни низко стоит сам он в обществе, смотрит на мужика сверху вниз и имеет, по-видимому, для этого достаточные основания. Но прежде чем делать из этого какие-нибудь выводы, прежде чем радоваться или горевать или искать подтверждения той или другой излюбленной теории, посмотрим, как относится босяк к представителям других сословий или классов, например, к купцам.

Аристид Кувалда, один из «бывших людей» и некоторым образом глава их или, по крайней мере, пристанодержатель, делает такое определение: «Что есть купец? Рассмотрим то нелепое и грубое явление. Прежде всего каждый купец – мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец – мошенник-мужик... О, если бы я писал в газетах!.. О, я показал бы его в настоящем виде, я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Я понимаю его! Он? Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает» (II, 175).

Правда, Аристид Кувалда – отставной ротмистр и дворянин, и можно, пожалуй, подумать, что его ненависть к купцам есть нечто исключительное. Но его дворянское прошлое, как и прошлое других его разношерстных товарищей, давно быльем поросло. Он принадлежит к числу «изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и гря-

зью» (II, 178). Мало того, благодаря некоторому образованию, недюжинному уму и ораторской способности, Аристид Кувалда, пользующийся в своей среде огромным авторитетом, может логически выразить и более или менее ясно формулировать бродящие в душах золоторотцев инстинкты и чувства. Вот, например, одна из бесед Аристида Кувалды с братией:

«— Как бывший человек (говорит Кувалда), я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно. Но чем же я и все вы — чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно, — поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое новое, ибо и мы в жизни новость...

— Несомненно, нам нужно это, — говорит учитель.

— Зачем, — спрашивает Конец, — не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят, моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такой жизнью.

— И какая мы новость, — усмехается Обьедок, — гольтепа всегда была.

— И она создала Рим, — говорит учитель.

— Да, конечно, — ликует ротмистр, — Ромул и Рем, разве они не золоторотцы? И мы, придет наш час, создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия, — перебивает Обьедок. Он хохочет, довольный собой» (II, 177).

Мы еще вспомним некоторые подробности этой знаменательной беседы, а пока заметим, что среди «бывших людей» есть всякие — мужики, и дворяне, и интеллигенция, и городские, и деревенские жители, и всем им «нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое», И если Мальва находит, как мы видели, что в деревне, «как в яме — и темно, и тесно», то вот, например, босяк Коновалов говорит автору: «Совеем напрасно ты, Максим, в городах трешься. И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь и тесная. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо» (II, 62). «Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь!» И только после убедительной реплики товарища Коновалов с сожалением соглашается, что «для зимы города действительно нужны... тут уж ничего с ними не поделаешь» (II, 64). В деревне, как в яме, — и темно, и тесно. Но вот и городской рабочий, сапожник Орлов говорит теми же словами: «Сижу в яме и шью» (II, 90), «сижу вот в яме и все работаю, и ничего у меня нет» (II, 93); «хоть на чердак заберись, все же в яме будешь... не квартира яма... жизнь яма» (II, 94). И в итоге своей карьеры и своих размышлений о жизни Орлов говорит: «Противно все — города, деревни, люди разных калибров... тьфу!» (II, 151).

Итак, герои г. Горького не к одному мужику относятся презрительно и ненавистно: и деревня, и город равно вызывают в них недобрые и вообще отрицательные чувства. Мало того, если вы внимательно прочтете того же «Челкаша», то увидите, что к презрению, которое босяк питает к Гавриле, примешивается странное сочетание зависти и сочувствия. Одиннадцать лет тому назад Гришка Челкаш сам был деревенским мужиком, и в разговоре с Гаврилой он «чувствовал себя обвеянным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи исконного крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... И он чувствовал себя сбитым, упавшим, жалким и одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах» (I, 92–93). Любопытно также, что наш автор колеблется в определении тех чувств, с которыми другой ненавистник мужика, Тяпа, вычитывает в газете неприятные известия о деревне: «быть может, сострадание, быть может, удовольствие». Тяпа даже посылает одного из «бывших людей» в деревню: «...шел бы ты в

деревню... просился бы там в учителя или в писаря... и был бы сыт, и проветрился бы. А то чего маешься?» (II, 173).

Из всего этого видно, что задача г. Горького лежит где-то в стороне от грубого противопоставления деревни и города. Его образы и картины разные читатели могут, разумеется, истолковывать различно, смотря по степени своего понимания, а может быть, и добросовестности. Один может подчеркнуть для себя, – а если он не просто читатель, а и критик, то и для других, – одну сторону дела, другой – другую. Эти односторонние освещения могут быть очень остроумны и представлять большой интерес в том или другом смысле. Но любопытно знать и мнения самого наблюдателя – автора, хотя для нас вовсе не обязательно с этими мнениями соглашаться. Но в двух томах рассказов г. Горького есть, кажется, только одно место, где автор прямо от себя как будто сопоставляет деревню и город. А именно: «Быть может порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни» (II, 167)^[51]. Но и это мнение, конечно интересное, – в качестве итога очевидно тщательных наблюдений, – очень далеко от огульного сопоставления мужика-земледельца и городского жителя вообще или, как у нас недавно еще до тошноты часто повторяли, «деревенской и городской культуры». Г. Горький сравнивает не вообще деревенских и городских жителей, а лишь определяемых известными нравственными признаками – «порядочности» и «порочности», причем относительно «порядочных» выражается сомнительно: «быть может». Да и вообще все это мимоходом брошенное замечание не имеет большого значения для основной темы г. Горького, разрабатываемой в большинстве его рассказов. Все его излюбленные герои «порочны», близки к тюрьмам, кабакам и домам терпимости, все – как деревенские, так и городские. Если, например, городские «бывшие люди» «охотно, много и скверно говорили о женщинах», то, во-первых, один из их среды – «учитель» – сердился, «если очень уж пересаливали», а, во-вторых, и бывший мужик Челкаш – «циник». Если в рассказе «Дело с застежками» бывший мужик Мишка, к негодованию своего необузданного товарища Семки, способен растрогаться чтением, то и городской человек Коновалов ему в этом отношении не уступит. Все это оттенки, подробности, хотя и подлежащие сложению в общие правила и вычитанию исключений, но имеющие мало значения для главной темы г. Горького. Важно, что все эти чандалы, от какого бы общественного слоя они ни откололись, будучи отверженцами из отверженцев и сами сознавая свою «порочность», считают себя вправе свысока относиться ко всему окружающему и в каких-то отношениях действительно имеют это право.

* * *

Характеризуя только что упомянутого Мишку («Дело с застежками»), г. Горький говорит, что он «типичнейший мечтатель-мужик, излюбленный персонаж писателей-народников, так много говоривших о нем и позабывших рассказать, как он, этот тип вымирает, постепенно отравляемый суровой жизнью, которая никогда не благоволила мечтателям, нимало не нуждается в них и всегда предпочитает здоровые руки слабой голове». Кого бы ни разумел здесь почтенный автор под писателями-народниками, – вообще ли писателей, черпавших свои темы из народного быта и с особенным интересом приглядывавшихся к мужицкой жизни, или же народников, так сказать, принципиальных, идеализировавших мужика и «устои» его жизни, – он во всяком случае неправ; фактически неправ, утверждая, что писатели эти позабыли рассказать, как вымирает «мечтатель». Это было бы нетрудно доказать многочисленными примерами, но такая экскурсия в сторону недавней истории нашей литературы слишком отвлекла бы нас от г. Горького, да и не нужна она для нашей цели. Г. Горький не решается заполнить указанный им якобы пробел. Он дает ряд фигур, уже отвергнутых «суровой жизнью», и все это «мечтатели»: мечтатели-поэты или мечтатели-философы, быть может, слишком поэты и

философы. И, глядя на них, приходится признать, что наша жизнь не нуждается не только в «слабых головах», предпочитая им «здоровые руки». Тут еще не было бы ничего удивительного или внимания достойного. Здоровые руки, конечно, предпочтительнее слабой головы, как маленький каменный дом предпочтительнее большого черного таракана. Удивительно то, что отвергнутые жизнью мечтатели г. Горького в большинстве случаев совсем не слабые головы (г. Горький считает даже возможным, как мы видели, объединить их общим признаком: «далеко не глупы»), и руки у большинства их тоже здоровые, а они все-таки отверженцы. Отчего же это так выходит?

Есть, впрочем, у г. Горького один совершенно безрукий герой – Михаил Антоныч в рассказе «Тоска». Об нем узнаем от него самого, что он перепробовал множество профессий: был часовых дел мастером, певчим, смазчиком на железной дороге, приказчиком у лесоторговца, торговал роговыми изделиями и, наконец, где-то на фабрике в пьяном виде попал в приводной ремень, которым ему и оторвало обе руки. Тут мы имеем, по крайней мере, указание на причину, окончательно выбившую человека из строя. Но и то надо сказать, что и прежде этого печального случая Михаил Антоныч почему-то не мог приспособиться ни к одной из перепробованных им профессий, да и в приводной ремень попал пьяный, может быть, конечно, и случайно, а, может быть, и как привычный уже пьяница. Вообще г. Горький чрезвычайно скуп на разъяснение тех условий, при которых «суровая жизнь» вышвыривает за борт его героев; и даже когда более или менее подробно рассказывает их биографию, то обрывает ее на самом интересном месте. Вот, например, Гришка Челкаш. Он вспоминает свое прошлое. «Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую; снова себя красавцем гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел и то, как гордился перед всей деревней отец своим Григорьем, усатым здоровым солдатом, ловким красавцем...» (I, 92). Все это только вступление к жизни босяка, но г. Горький ставит многоточие и затем ограничивается темным намеком на какие-то «ошибки». В чем состояли эти ошибки, так и остается неизвестным, но достоверно, что голова у Челкаша не слабая, а руки здоровые. Из биографии удалого золоторотца Сережки (в «Мальве») только и известно, что он мещанин города Углича «везде бывал, скрозь прошел всю землю». А если г. Горький кое-где и намечает исходный момент босячества, то довольствуется общими выражениями вроде того, что «нужда загнала» или «запил», – просто запил, да и все тут. Это слишком неопределенно. Нужда то медленно и постепенно захватывает людей своими цепкими когтями, то настигает их внезапно, без предостережений, и в том, и в другом случае подбираясь с очень разных сторон; а «запивают» люди, кроме нужды, еще и по многим другим, разнообразным, притом часто случайным, не поддающимся обобщению причинам. Попробуем обратиться за разъяснением не к г. Горькому, а к самим его героям.

Я уже заметил, что большинство этих героев поэты и философы, поэты, по крайней мере, в душе, и философы, по крайней мере, по склонности осмысливать и обобщать явления жизни. Г. Горький утверждает даже, что «каждый человек, боровшийся с жизнью, побежденный ею и страдающий в безжалостном плену ее грязи, более философ, чем сам Шопенгауэр, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется в такую точную образную форму, в какую выльется мысль, непосредственно выдвленная страданием» (II, 31). Г. Горький недаром говорит не только о точной, а и об образной форме и, надо думать, не случайно выбрал именно Шопенгауэра, этого мыслителя-художника, для сравнения со своими героями. Его излюбленные персонажи, даже в тех случаях, когда им не удастся точно сформулировать свои мысли, выражают их картинно, художественно, образно. До такой степени картинно и образно, что читателя невольно берет сомнение, – возможно ли, правдиво ли это? В знании той среды, которую он

описывает, г. Горькому никоим образом отказать нельзя; подлинная правда чувствуется как в общей концепции его произведений, так и во множестве житейских подробностей, которых нельзя выдумать, сочинить. Но иногда, читая речи и размышления его босяков, поневоле вспоминаешь его собственную оценку босяцких словесных автобиографий, «в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самою наивною ложью» (II, 30). Конечно, «ложь» в данном случае слишком грубое слово по отношению к столь почтенному писателю, но речь идет не о сознательной какой-нибудь лжи. Да и босяцкую ложь надо тоже понимать. Кроткий и ко всем, кроме себя, снисходительный Коновалов, на вопрос одного из товарищей-босяков – «Не веришь?» – отвечает: «Нет, верю... Как можно не верить человеку? Даже если видишь – врет он, верь ему. Т. е. слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?» – «Верно», – соглашается рассказчик» (II, 31). Г. Горький рассказывает про своих героев ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая ни одной из черт их многообразной «порочности», но вышеприведенное убеждение в их превосходств над Шопенгауэром заставляет его вливать в их головы маловероятные мысли, а в их уста – маловероятные речи. Язык его босяков до крайности не характерен, напоминая собою превосходный язык самого автора, только намеренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мере отчасти, об их философии. Вы понимаете, что старуха Изергиль может выражаться, например, так: «Однажды гроза грянула над лесом, и зашептали деревья глухо и грозно; и стало в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился» (I, 129). Эта цветистая речь, эти оригинально-красивые поэтические образы, может быть, и уместны в устах старухи Изергиль ввиду ее восточного происхождения. Безрукий Михаил Антоныч философствует в таком роде: «О чем рассуждать, когда существуют законы и силы? И как можно им противиться, если у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлежит законам и силам? Вы понимаете? Очень просто. Значит, живи и не кобенься, а то тебя сейчас *же*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.